

---

*Сергей Муратов*

## Два рассказа

### *Дёма*

В метро Дёма бывал только с мамой, когда они ездили в гости к тете Наташе. Вообще-то его звали Андреем, но фамилия у него была Дёмин, и потому все звали его Дёмой. Даже его мама, но только когда сердилась. И ему нравилось быть Дёмой, да он и сам был, как это слово, — белобрысый, веснушчатый и ладный, как речной голыш. В метро Дёме ужасно нравилось, но тетю Наташу он не любил. Дёма хоть и был второклассником, но уже понимал, что никакая она не тетя, а дальняя родственница, а маме просто нужно занять денег до полочки.

Тетка жила одна в большущей квартире, и все у нее стояло на своих местах, как в музее, а трогать ничего нельзя. Это бы ладно, но еще у тетки была старая визгливая болонка. Она выкатывалась из-под дивана, переворачивалась на спину и, дрыгая задними лапами, ждала, что ей будут чесать живот. И тетка умилялась, думая, что Дёме это очень нравится. А Дёма терпеливо чесал заросший желтой свалявшейся шерстью живот и мстительно воображал, как он встретит эту псину на улице. И тогда, тогда, животное, ты от Дёмы и на дереве не спрячешься! Ты же не кошка!

Но зато у тетки откуда-то были большие альбомы с морскими гравюрами и картинами. И Дёма подолгу разглядывал их. Вот плывут в бушующем море трое смельчаков, ухватившись за обломок мачты с красным парусом. Огромные волны бросают их с гребня на гребень, но они — отважные и сильные моряки, и погубить их не так-то просто.

А вот весь в дыму и в огне сражается парусный русский фрегат с целой эскадрой под флагами с хищным полумесяцем и звездой. Палят пушки, летают тяжелые ядра, свистят пули, гибнут в огне и тонут в пучине матросы и офицеры. Много пробоин в борту у нашего фрегата, одна мачта сломана, на двух других паруса пробиты и разорваны, прострелен и порван красивый Андреевский флаг. Но и у турок один большущий корабль уже тонет, и вряд ли там кто спасется, два корабля поменьше горят, а еще два уже повернули в свои турецкие свояси!

В вагоне метро было только два свободных места и в разных концах. Мама сказала Дёме, что он уже не маленький и посидит один, а она будет недалеко — вон там. И ушла. Дёме это очень понравилось, выходило, что он едет почти что один, как большой. Надо будет приврать друзьям, что они с мамой вообще в разных вагонах

---

*Муратов Сергей Афанасьевич* родился в 1967 году в Чебоксарах. Окончил Московский строительный техникум (1986). Автор сценариев к фильмам «Мешок», «Салам, Масква» и др. Живет в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 7.

ехали. Вагон мчался со свистом и скрежетом, за окнами было темно, только тянулись бесконечные провода. А окна в вагоне — как иллюминаторы у подводной лодки, и это, конечно, никакие не провода, а самые настоящие глубоководные водоросли. Дёма где-то читал, что в некоторых морях водорослей ужасно много, и за одну ночь они могут корабль так опутать, что ему уже и не сдвинуться.

Но подводная лодка — совсем другое дело, на такой скорости ей ничего не страшно. Любая глубина и любые водоросли — все нипочем. Дёма осмотрел команду вагона, и действительно — все были спокойны, а некоторые даже дремали. И тут Дёма захотелось сходить к маме. Нет, дела у него никакого не было, но ему ужасно нравилась сама идея: он едет в метро, у него есть свое место, и он даже может сходить к маме и вернуться обратно. Класс!

Но мама была все-таки не рядом, а вдруг его место займут? Хотя в вагоне почти все сидели, Дёма все же беспокоился, он же видел, как вошедший на станции военный занял место очкарика с букетом, который пошел посмотреть карту метро да так там и остался. Можно, наверное, кого-то попросить. Дёма посмотрел на соседей, но тетка, которая слева, уж очень была похожа на дворничиху Семёновну, а ту просить бесполезно. Сколько раз они всем домом плакали — просили не забирать котят у дворовой кошки Маруси. А сосед справа был вообще негр, и он спал.

Тогда Дёма слез с пружинистого диванчика и многозначительно оглядел всех, кто сидел на его стороне, а также и сидящих напротив, словно говоря им — вот видите, это мое место, я сейчас уйду к маме, а потом вернусь. Все тоже посмотрели на него, даже негр приоткрыл глаза и снова закрыл. Дёма решил, что они все поняли, и смело двинулся к маме.

В этот момент вагон сильно качнуло, и Дёме пришлось бы худо, не ухватись он за блестящие поручни капитанского мостика. «Что бы это могло быть?» — забеспокоился Дёма. Даже если это гигантский кальмар, все равно, главное, в такие минуты сохранять спокойствие и быть для команды примером. Твердо стоять на своем месте, будто ничего не случилось и все идет по плану. Дёма пошире расставил ноги, крепко сжал поручни обеими руками и бесстрашно посмотрел в иллюминатор — там была все та же бездонная пустота и виляли вверх-вниз толстые канаты водорослей. Вскоре вагон бросать перестало и движение выровнялось. «Наверное, прошли под стадом кашалотов, вот вечно они болтают своими хвостами», — подумал Дёма. Он отпустил капитанские поручни, засунул руки в карманы и вразвалочку, как матросы в фильмах, двинулся к маме. Но тут Дёма оглянулся на свое оставленное место, и на глаза мгновенно навернулись слезы. Нет, он не заплакал, но в груди народилась и прочно сидела толстая, плакучая обида, готовая вот-вот прорваться наружу. На его законном месте сидела незнамо откуда тетенька в больших очках и в маленькой шляпке. На коленках она держала корзинку, покрытую клетчатым платком, из-под которого высовывал разбойную морду рыжий кот. Он подозрительно нюхал воздух и снова прятался. Дёма выпятил губу и решил, что до мамы он, конечно, дойдет, но возле нее точно расплачется. И тут подводная лодка на полном ходу вынырнула на поверхность. Мимо проносились кусты, за ними березовая роща, и солнце, пробиваясь сквозь деревья, залило все своим светом, и Дёмины слезы сами собой высохли. Он еще раз посмотрел на рыжего кота, на теткину шляпку, улыбнулся и по-матросски, вразвалку, пошел к маме. Она тоже улыбалась ему и вынула его руки из карманов, а Дёма нагнулся к ней и сказал: «Мам, а я тете с котом место уступил».

## Прощание

Всё произошло неожиданно, как в каком-нибудь незатейливом фильме. Утром позвонил брат, и, не поздоровавшись, объявил Андрею о смерти деда таким тоном, будто обвинял в случившемся. Это у него привычка такая, он ведь старший брат, хотя три года для взрослых вроде бы никакая не разница. Наверное, от этого тона Андрей почувствовал лишь досаду, а горечи почему-то совсем не было.

Поздно вечером, на вокзале, встретился он и с братом, и с родителями, и с другими родственниками. Ехать всем вместе не получилось, и Андрею достался билет на самый последний поезд, что его и утешило. Честно говоря, ему совсем не хотелось ехать с кем-то вместе, родственных связей он не понимал и не ценил. Ему казалось, что все это неискренно, напоказ, для семейных юбилеев или вот для похорон. Чтобы раз в несколько лет, сидя за многолюдным столом, окинуть всех нетрезвым взглядом, толкнуть в бок ближайшего из родственников и негромко заметить: «Черт возьми, а ведь не мало нас — Ивановых (Петровых, Гвоздёвых и т.д.) на свете...» Но в жизненной суете даже с родным братом Андрей созванивался и виделся очень редко. А уж про всяких двоюродных дядьев или племянников годами ничего не слышал, да и не спрашивал.

Вагон оказался последний. Андрей стоял в тамбуре и глядел на убегающие рельсы, хотя рельсы как раз оставались, а он уезжал. Вспомнилось, как перед самой армией захотелось вдруг съездить в деревню. В юности служба в армии представлялась ему каким-то рубежом, важным жизненным перевалом. И он поехал, так сказать, напоследок. Было это в конце зимы, еще стояли морозы, и опаздывая на поезд, Андрей бежал по скользкому, как каток, перрону Казанского вокзала и еле-еле успел запрыгнуть в последний вагон. И так же, как и сегодня, долго стоял в тамбуре и зачарованно смотрел на убегающие рельсы.

Дед тогда лежал в единственной на весь район больнице, и Андрей сделал крюк, чтобы повидаться с ним. За ночь началась оттепель. Дороги развезло, сугробы почернели и пошли проталинами, отчего вся красота зимы исчезла. Больница была деревянная, черная от старости и задней своей частью нависала над оврагом, на дне которого зимовала чуть живая, но упрямая речка. Глядя на этот двухэтажный почерневший от времени покосившийся дом под серой цинковой крышей, нельзя было поверить, что отсюда может исходить хоть какая-то помощь. Андрею не доводилось бывать в сельских больницах, и войдя, он оторопел и не сразу понял, что ничего необычного не происходит. Сразу за входной дверью, обитой стеганым одеялом, располагался неосвещенный холл. Вдоль стен сидели на корточках небритые мужики в валенках и телогрейках, женщины с грудниками на руках и больные в серых халатах с бледными лицами.

Вспомнились и Булгаков, и Чехов. И стало страшно: ведь и его дедушка здесь. И, наверное, как и эти люди, верит и надеется, что здесь помогут, избавят от болезни, от боли. И стало жалко, до слез жалко всех этих... Андрей не находил нужного слова, но откуда-то вдруг пришло «прихожане», и оказалось единственным, необходимым и точно выражающим их положение.

Палата находилась на втором этаже. Узкая комната с грязным окном в торце. Вплотную стоящие металлические койки. И вдруг на ближайшей — дедушка... его дедушка... Серая простыня с синей печатью на рваном углу. На тумбочке кружка-поилка с фотографией Ессентуков, возле кровати — согнутый в колене, одетый в пижамные брюки, такой знакомый и родной дедушкин протез. Андрей присел к кровати, взял деда за темную жилистую руку, посмотрел ему в глаза, и внутри у него все сжалось. Дальнейшее он помнил неясно, какими-то урывками.

Андрею почему-то казалось, что дедушка, увидев его, обрадуется, оживет и оправится... Это было наивно, но он еще никогда не видел деда беспомощным. А дед молчал. Он даже не улыбнулся. Не переменял позы, так и сидел, покачивая седой, коротко остриженной головой и время от времени протяжно выдыхал: «Да-а-а...» Словно укорял кого-то. И тогда Андрею захотелось поднять деда на руки, завернуть в одеяло и скорее унести отсюда, в деревню, домой, к бабушке. Туда, где мир понятен и прост; где весь порядок жизни подвластен деду, и без его ведома никогда ничего не происходит. Туда, где деда любят и уважают, где одних внуков летом съезжается больше дюжины; где вся деревня ходит к нему за советом и помощью. Одним словом, надо было немедленно восстановить нормальное положение вещей в этом больном, покосившемся мире...

Андрей шел по скрипучим полам полутемных коридоров к какой-то заведующей, чтобы объяснить, что дедушке здесь нельзя, невозможно... А заведующая, узнав, что Андрей из Москвы, вдруг обрадовалась и бойко заговорила, показывая историю болезни, результаты анализов... Андрей смотрел на нее и не мог поверить, что перед ним — живой человек, а не актриса. Так фальшиво она играла, не владея ни ролью, ни голосом, да еще эти нелепые жесты с градусником в маленьком красном кулачке... Ну какие, какие анализы! Если в палатах накурено, грязь, тараканы, а туалет и вовсе на улице... Было слишком понятно, что этой женщине совершенно неинтересен ни дед, ни его здоровье. Но для чего же, для чего она говорит все это? Этот вопрос так и остался тайной. Позже, когда жизнь снова сталкивала Андрея с такими людьми, он уже не пытался вникать в смысл слов, а только пристально вглядывался, надеясь разгадать — что движет человеком в такую минуту? Зачем, чего ради продолжает он представляться каким-то персонажем, неужели не чувствует, как фальшиво и нелепо это выглядит? Ведь всего-то и нужно было тогда деду — домашняя обстановка и родные люди. Только и всего...

Поезд стоял на станции. Вагон спал, а за окном шел затяжной дождь. Свет прожекторов и семафоров блестел на мокрых рельсах и черных лужах. Даже в вагоне чувствовалось, как снаружи сыро и холодно. Сквозь стекло, по которому текли капли дождя, различались мешковатые фигуры в капюшонах, они медленно брели вдоль состава, шлепая по лужам. И через равные промежутки времени под вагонами раздавались короткие металлические удары. Потом пауза, хлюпанье по лужам и стук под другим вагоном. И так неторопливо все это делалось, что казалось, будто так здесь было всегда. Из века в век лежат тут рельсы, по ним идут поезда, останавливаются. И кто-то невидимый ходит и постукивает, постукивает, постукивает. А может, и поезда идут не оттого, что есть где-то расписание, вокзалы, билеты и пассажиры, а только от этого вот постукивания. Да и все остальное, не только железная дорога, а все вообще — небо, ночь, дождь, звезды — вообще все в мире, быть может, зависит от мешковатых фигур и постукивания.

Вспомнился эпизод из «Андрея Рублева». Там тоже лил бесконечный дождь в какой-то местности, где, сколько хватало взора, только лес, грязь да вода. А люди, кучка оборванных замерзших крестьян, укрылись чуть ли не в хлеву, где и крыши-то, кажется, не было, дети и старики и козы с курами. А на лицах забитость, страх и неизбежная безнадега. Так они и жили век за веком. Если дождь — они мокли, если солнце — грелись, а приходила смерть — умирали... И ничего, ничего-то не изменилось...

Андрей пристроил на полке сумку и куртку вместо подушки и лег. Он любил ездить ночью, когда все спят и можно свободно ходить по вагону или стоять у открытого окна. Вглядываться в таинственную тьму ночи и представлять, как хоронились в лесах осторожные мурома и воинственные древляне, укрываясь все дальше и дальше в непролазные волжские болота от расширявшегося московского княжества...

Он закрыл глаза. В пять утра будет его станция, надо было хоть немного поспать. С раннего детства Андрей каждое лето проводил в деревне и всякий раз переживал приезд и отъезд как встречу и разлуку с чем-то очень дорогим и неповторимым, чего нигде в мире больше не было и не могло быть. Все его здесь удивляло и приводило в душевный трепет. Залитые солнцем темно-зеленые холмы; тенистая тишина лесных оврагов; марево жаркого полдня и прохлада туманного утра; золото топленого молока в крынке и россыпи алой брусники на покрывале зеленого мха. И потом он твердо верил, что имеет какие-то особые, таинственные, еще не раскрытые отношения с этой землей — с лесами, прудами, оврагами. На всем, что он видел, лежала печать некоей тайны, но что это была за тайна он не знал, а спросить было не у кого. И всякий раз, приезжая в деревню, он ожидал чего-то, какого-то откровения или встречи, но с кем или с чем, он не знал. Однако лето кончалось, но ничего такого не происходило. Андрей огорчился, но, поразмыслив, признавал, что, пожалуй, он еще не готов, еще не созрел... И, прощаясь с деревней до будущего лета, сквозь печаль разлуки он ясно чувствовал, что в следующий приезд — обязательно что-то произойдет...

Пройдя пешком пять с лишним километров под холодным морозящим дождем, Андрей продрог и устал, словно прошел все двадцать. Хотелось в тепло и пахучего горячего супа из печи. В деревню он вошел околицей или, как здесь говорили, задами. Мимо черных покосившихся бань возле заросшего пруда. Раньше пруд был глубокий, чистый с песчаным дном, но не прошло и десяти лет, как он превратился в болото. Андрей открыл калитку и зашел в дедушкин огород. Мокрые куры сиротливо ходили по раскопанным грядкам и рылись в иссохшей ботве. Голые темные яблони, как узники земли, взывали к небу корявыми ветвями. А в небе плыли рваные серые облака, поливая дождем и без того мокрую землю.

В дом Андрей вошел через задний двор. По стенам висела старая одежда: пальто с облезшими воротниками, белые заношенные дождевики, выцветшие шляпы и кепки, сумки с тряпьем и даже лапти. Из темного угла выступал большущий сундук, куда раньше ссыпали зерно, а теперь там хранили всякое барахло, что давно вышло из употребления, но выбросить было жаль. Летом на заднем дворе всегда прохладно, и дедушка, вернувшись с полной корзиной грибов и сняв скрипучий протез, садился на пороге, поглаживая оставшуюся после ранения культю, подолгу смотрел вдаль. Деревня стояла на холме, и вид отсюда открывался красивейший: нисходящие зеленые террасы с желтыми шапками стогов, с темными перелесками и синей полосой дальнего леса. Андрею всегда казалось, что деревня здесь появилась только ради пейзажа.

Тишина, полумрак, запах сырой земли, мокрой древесины, старой одежды, все возбуждало в Андрее мысли о старине, о предках, которые Бог знает сколько жили на этом месте. Ходили этими тропами, трудились на земле, растили детей, радовались внукам, на что-то надеялись. Куда девалось все это? И что осталось? Разве только огород, дом, да и сколько он еще простоит? «Но тогда чего ради... Чего ради...» — начали подниматься вопросы, но вдруг Андрей заметил, что на веревке, протянутой вдоль стены, висят дедушкины кальсоны с одной обрезанной штаниной и толстый шерстяной чулок, который дед надевал вместо носка на оставшуюся от ноги культю. Это поразило Андрея, и он вдруг подумал, что, может, дедушка жив, просто вышла ошибка, напутали или... да мало ли что...

Бросив в коридоре сумку, он прошел в избу и, войдя в низкую дверь, сразу понял, что ошибки не было — старое зеркало, висящее напротив двери, было обернуто простыней. А на печной лежанке навалены ватники, куртки и пуховые платки. Открылась дверь в переднюю комнату, послышалось монотонное причитание и вышла мама Андрея. Она была в шерстяном черном платье и черном платке. Посмотрев на Андрея заплаканными глазами, она всхлипнула и, обернувшись в

комнату, сказала: «Андрюша приехал». Из комнаты сейчас же послышался бабий вой на несколько голосов, и мама поманила Андрея за собой: «Иди, постой возле дедушки, постой...»

Андрей с трудом стянул с себя мокрую куртку, закинул ее на печь и шагнул в полумрак комнаты. В углу горела лампада, освещая темную икону. Посреди комнаты стоял открытый гроб, и на его стенках горели четыре свечи. Андрей сделал пару шагов и остановился. Как во сне видел он бледные пятна лиц в полумраке, слышал глухие рыдания с причитанием, но сам просто оцепенел. Умом он понимал, что в гробу лежит дедушка, его дедушка, и надо что-то сделать, ну хотя бы заплакать, но не мог даже посмотреть в гроб. Ему было стыдно и неловко, как будто он был в чем-то виноват перед дедом, и это было невыносимо. Неожиданно появился брат и, взяв Андрея за руку, повел из комнаты, сказав: «Пойдем, выпьем, а то заболеешь».

За занавеской, в кухонном закутке, они с братом выпили теплой водки из граненых стаканов. Андрея подташнивало, допив до конца и взяв большой соленый огурец, ел его с черным хлебом и слушал брата. Тыча Андрея в грудь, брат с хмельной увлеченностью рассказывал, что к их тетке Тане, младшей дочери деда, как раз в день его смерти залетел на кухню голубь и побил всю посуду. Но самое главное, что голубь был белый, и этот факт особенно умилял брата. Андрей почувствовал, что захмелел, и полез на теплую печь, где пахло мокрой одеждой и сухим печным теплом.

Пробираясь сквозь мокрые заросли, Андрей идет по дну глубокого лесного оврага с крутыми, заросшими сплошным орешником склонами. Со дна оврага поднимаются могучие дубы и огромные доисторические папоротники, что наводят на мысли о сказочных чудовищах. Странная для леса тишина и ощущение, что кто-то за ним наблюдает. Неожиданно и овраг с папоротником, и дубы, и нависший свод орешника расступаются, и открывается широкая поляна, поросшая мелкой, словно подстриженной, травой, на которой лежат несколько лошадей. Андрей останавливается и в немом удивлении глядит на них, а они на него. И столько величия в лошадиных глазах, что он теряется. «Здравствуй, Андрей!» — раздается вдруг глухой низкий голос с каким-то акцентом. Андрей испуганно вздрагивает, но сразу успокаивается, поняв, что это, видимо, пастух, да к тому же знакомый, и оглядывается. Но никакого пастуха нет, а есть гнедой масти лошадь, и она приветливо кивает ему головой.

«Здравствуй, Андрей!» — снова слышит он и в ужасе понимает, что это говорит та самая лошадь. Она легко поднимается и рысцой подбегает к оцепеневшему Андрею. Остановившись, лошадь нюхает его волосы и рокошет: «Не узнал? Я Звеска, дедушки твоего лошадь».

И точно, теперь Андрей и сам видит, что это она, лошадь, на которой дед возил в деревню хлеб. Сколько он себя помнил, столько лет помнил и Звеску. У дедушки на телеге был устроен фургон для хлеба. Вот эту телегу и возила Звеска, но она умерла. И потом, умерла не умерла, но Звеска не может с ним разговаривать, она же лошадь!

Андрей с испугом глядит на Звеску и чувствует себя совершенно беспомощным перед ней и другими лошадьми. И главное, он совершенно не знает, что у них на уме. Он на секунду зажмуривается, потом еще раз внимательно смотрит Звеске в глаза и обессиленно опускается на траву. Звеска призывно ржет, и к ней подбегает черный жеребец. «Это Каурый, — говорит Звеска. — Садись на него, Каурый любит всадника. Поскачем к Чёрному озеру!»

Каурый идет галопом. Андрей, обхватив его сильную шею руками, с трудом держится на спине этого большого, сильного животного. Он уже не знает где находится, все смешалось в этой скачке, и небо, и земля, и время... Словно изнутри доходят до него слова Каурого. Грубые и мощные, в невозможном лошадином произношении они звучат страшно и убедительно. Иногда Каурый делает неправильное

ударение или раскатывает букву на целое слово и тогда смысл фразы разрывается и зияет пропасть, что от начала положена между животным и человеком.

«Пойми, человечество хорошее, но вы слабы... но теперь мы ваши друзья! Ваши разумные помощники, ведь вы так долго мечтали о цивилизации, которая помогла бы вам... нашу верность и терпение наше вы знаете не одну тысячу лет... Без нас вы исчезнете, как атланты».

Каурый умолкает и прибавляет хода. Андрею становится совсем худо. Он чувствует себя не человеком, не гомо сапиенсом, а какой-то обезьяной. Ему уже плевать и на цивилизацию, и на человечество, и в какой-то момент он ослабляет руки, соскальзывает с Каурога и летит куда-то вниз, вниз, вниз...

Андрей проснулся, словно из омута вынырнул. Был он весь мокрый, тяжело дышал и в полутьме не сразу смог сообразить, где находится. Во рту было гадко и что-то твердое упиралось в спину. На ощупь он опознал валенок и вспомнил, что лежит на печи. С потолка, как гигантские гусеницы, свисали набитые луковицами чулки. Вдоль стен, на отполированных деревянных шестах, висели застиранные кофты, платки и рубашки. Печная лежанка была отгорожена от кухни занавесками, и сквозь щелочку Андрей видел, что возле самой печи и вдоль стен, на лавках, сидело несколько старушек. В черных платках, сложив на коленях темные морщинистые руки, вели они неторопливый разговор.

— А теперь, то не знай, будут, что ль, возить хлеб, ай нет?

— Ох хо-хо... Да и кому возить-то, все уж порем скоро!

Старушки помолчали.

— Все там будем... кто раньше, кто позже... Не знай, на том свете хлеб-то свой? Или тоже привозят?

Старушки посмеялись.

— Да какой там тебе хлеб? Хлеб! Сгниешь и всё! Трава вон только вырастет... или дерево...

— Что это? Теперь вон, говорят, душа-то не гниет, она на небо летит... к Богу! А там уж сразу и суд!

— Это ты отколь знаешь?

— Да по телевизору так-то говорили, да и везде теперь так говорят...

— Ну да! Нынче не знай, кому и верить... Один так говорит, другой этак... Не знай...

— А я вот от Нины слыхала, ну от Нины! Что в церкви-то полы моет...

Открылась дверь, оттуда выглянула мама Андрея и сказала: «Ну, пойдете, бабоньки, поплачем, монашка всё вычитала, в церковь ехать пора». Старушки, кряхтя, поднялись, крестясь, зашли в комнату, и тут же послышались плач и причитания. Андрей был потрясен, неизвестно почему, но он всегда думал, что именно в деревне, в глубинке, среди простого народа, сохраняется какое-то исконное знание о бытии, о жизни, о Боге. Но из разговора старушек было ясно, что этого и близко нет, и Андрею вдруг стало до слез обидно, словно его все время обманывали в чем-то очень и очень для него важном.

В церкви, на отпевании, Андрей стоял через силу, болели ноги, шея и почему-то сильно ныли плечи, так что даже перекреститься было больно. Андрей старался сосредоточиться на происходящем, но мысли неуловимо сворачивали и он вновь оказывался в мире своих идей и рассуждений. Молодой, лет тридцати пяти священник, широко размахивая кадиллом, вышагивал между гробом и алтарем, оставляя за собой шлейф пахучего ладанного дыма. Когда хор из нескольких старушек перевирал текст или брал не из того места, батюшка сердито на них оглядывался и поправлял несильным, но приятным тенором, не забывая все же давать возгласы и продолжая кадить.

Тоненькая свечка Андрея, какие были в руках и у всех стоящих в храме, трещала и брызгалась, а горячий воск, стекая, застывал на пальцах тонкой рыжей корочкой. Рядом с гробом, на табурете, отрешенно сидела бабушка. Маленькая, худенькая, с острым носом, она словно и не понимала, что с ней и где она. Погруженная в свои мысли или воспоминания, бабушка покачивала головой и утирала платочком слезы. Словно не было церкви, полной народа, и не голосил скрипучими голосами хор.

Жалость охватила Андрея, и навернулись слезы, но он сдержался и вышел из церкви. Чуть в стороне стояли и курили парни и мужики. Это всё были соседи и приятели, родственники, знакомые и незнакомые. Слово держал брат Андрея и, судя по лицам слушателей, рассказывал что-то забавное, но увидев брата, он замолчал и усиленно задымил сигаретой. Андрей знал, что если подойти, то придется здороваться и слушать этот никчемный разговор... Он сошел с крыльца в другую сторону, подошел к куче досок, перевернув одну сухой стороной кверху, сел и натянул капюшон. Теперь он был недосыгаем и безличен. Что еще человеку надо? Было все так же сыро и холодно. По капюшону барабанили капли. Андрей глядел на облупленные стены церкви, на новые блестящие купола и вдруг подумал: «Постой-ка... а где это я был? Словно где-то далеко-далеко...» Он стал перебирать места, где он мог быть, но почему-то забыл и вдруг понял, что был всего-навсего в церкви! Вот за этой облупленной стеной. А чувство такое, что был где-то совсем, совсем не здесь... Вот и вся жизнь так, переходишь из одного пространства в другое, и не важно — сколько между ними — десять метров или тысяча километров. Десять минут или годы. Сон или явь. Вот сейчас явь, а там он чувствовал себя совсем иначе...

Отпевание закончилось. Погасили свечи. Стало темнее и неожиданно уютнее. Идти никуда не хотелось. Хотелось посидеть на лавке под белыми сводами, спрятаться от этих дней, от печальных и неотступных мыслей. Вошли мужики с крышкой гроба и хотели заколачивать, но священник остановил и громко пригласил прощаться. Сначала пошли самые близкие, а потом образовалась очередь. В число близких родственников Андрей не попал и хотел улизнуть, но ему казалось, что все на него смотрят. Он подошел к очереди, но какая-то старушка с корявым посохом отпихнула Андрея и ворчала, оглядываясь. «Я же внук...» — как-то неуверенно подумал он, но промолчал. Подходила очередь Андрея, а он все никак не мог уяснить, что этот вот мертвец, лежащий в гробу, которого целуют в лоб незнакомые старики и старухи, это и есть его с детства любимый дедушка — дедуля, как называли внуки. И, стоя уже у гроба, Андрей наконец заставил себя посмотреть на дедушку и не узнал его. Тот вдруг стал похож на многочисленных деревенских покойников, которых Андрей видел на снимках, которые зачем-то хранились в дедушкином фотоальбоме. А самое главное, что и было дедушкой, исчезло. Теперь он думал только о том, что не хочет и не сможет поцеловать этого мертвеца. Но еще больше боялся, что об этом догадаются, и когда очередь подошла, он наклонился и сделал вид что поцеловал. Ненавидя себя, Андрей отошел и встал в сторонке...

Гроб закрыли и стали заколачивать. И вдруг волна громкого плача захлестнула церковь — завывли бабы, тут же подхватили старушки, и пошло рыдание. А мужики стояли, опустив руки, и глядели на них удивленно, как будто только сейчас поняли, что это похороны... Бабушке стало плохо. Принесли нашатырь. Рыдания утихли. Мужики подняли гроб на плечи и понесли к выходу...

Моросить перестало, но все равно было серо и холодно. «В такую погоду и помирать-то не жаль», — услышал Андрей сзади. Вынесли гроб, поставили на табуретки и вдруг громко, с руганью заспорили — грузить его на телегу или нести на полотенцах? Решили, что сначала понесут, а когда устанут, тогда уже на телегу... Понесли... Все потянулись следом. Кладбище было рядом — перейти через речку и подняться на холм. Проходя по узкому мостику, все почему-то боялись — не уронить



бы гроб в воду. Перешли мост и сразу оказались в воротах кладбища. Но теперь предстояло самое тяжелое — забраться на мокрый кладбищенский холм. Наверху, возле кучи мокрой глины, стояло трое парней. Опершись на лопаты и открыв рты, они с интересом смотрели на подошедшую процессию.

Гроб поставили на табуретки. Мужики закурили, примеряясь, как лезть на холм — и трава мокрая, и грязь... докурили, подняли гроб на плечи и полезли. Передние сразу оскользнулись и встали на четвереньки. Все заволновались. Кто был ближе, подхватили гроб с боков. Парни от могилы спустились и тоже взялись помогать. И так медленно, оскальзываясь и спотыкаясь, всем миром подтянули гроб к могиле. Поставили на табуретки. Стояли, переводили дыхание и вдруг снова заспорили — не узка ли могила? Кто-то начал деловито замерять гроб... И снова отчаянный плач и рыдание охватили всех. И в плаче спор потонул сам собой. И опять Андрей удивился, как внезапно началось и оборвалось рыдание. Словно большая волна накатила и отхлынула. Табуретки убрали, положили на могилу веревки и на самом краю поставили гроб. Разобрали концы веревок. Подняли гроб и осторожно, чтобы не перевернуть, опустили его в могилу. Женщины тихонько подвывали. Мужики взялись за лопаты, но их остановили и стали бросать землю руками. Андрей совершенно окоченел, но, главное, все никак не мог понять — зачем он участвует во всем этом... Люди ходили, разговаривали, плакали, рыдали, но ему казалось, что все это странный ритуал, никому не нужный, но неотвратимый. И, повинувшись общему движению, Андрей тоже подошел к самому краю могилы, взял кусок холодной и мокрой глины и, подержав, бросил его вниз, на обитый красной материей гроб. Глина глухо ударилась о крышку и развалилась. И в этот момент до Андрея наконец-то дошло. Словно разом включили звук, цвет и резкость происходящего. И тут уже на него одного нахлынула волна отчаянной жалости к себе и упреков к кому-то. И он зарыдал в голос горько-горько, как ребенок, которого незаслуженно наказали, и пошел между могильных оград куда-то вглубь кладбища. И все смотрели на Андрея, удивляясь. Но ему было все равно, он рыдал, ухватившись за березку, и не мог остановиться. Мама, и сама заплаканная, подошла к нему и тихонько позвала его. Он обернулся и, всхлипнув, уткнулся ей в плечо: «Дедушка умер...»